

Ровно к юбилею «Нашего современника» подоспела книга главного редактора, замечательного русского поэта Станислава Куняева «Сквозь слёзы на глазах», куда вошли его избранные стихи. Он сам – человек-эпоха, её, эпоху, и увековечивал в своих произведениях, и тем интересен или, точно по Пушкину, «любезен» он оказался народу. Мы думали написать о книге, но автор, словно предугадывая наше желание, сделал сам вступительное слово, прочитав которое, вам захочется погрузиться в мир поэта с головой и черпать, черпать его без остатка...

Станислав КУНЯЕВ

До и после трагедии

Оставляю свою последнюю, может быть, книгу и долго размышляю над каждым стихотворением: оставлять его для сегодняшнего читателя или нет? Не потому что мне стыдно за какие-то стихи. К власти я за все сорок лет своей, как говорят, творческой жизни не подлаживался, в ленинину никакого вклада не внёс, никаких масок на лицо не напяливал. Был верен завету, который сформулировал для себя еще в 1963 году:

Пишу не чью-нибудь судьбу,
свою от точки и до точки,
пускай я буду в каждой строчке
подвластен вашему суду.
А всё же кто-нибудь поймёт,
где грохот времени, где проза,
где боль, где страсть, где просто поза,
а где — свобода и полёт!

Смотрю, перелистываю книги, перечитываю, взвешиваю... Вырисовывается определённая картина: в одних стихах жизнь, энергия, вдохновение как бы поуяли, чуть-чуть иссякли, израсходовались. Вот их, постаревших со временем, я в эту книгу включать не буду. Оставляю те, в которых жизнь сохранилась в свежей полноте, те, которые люблю, как в молодые годы. Скрывать и прятать мне нечего — всё на виду, но самому определить, в каких страницах меньше, а в каких больше жизненной воли, оправданных пророчеств и предсказаний, я обязан.

Многие люди, с которыми я пребывал бок о бок в своей эпохе, так называемые шестидесятники, всю жизнь положившие на борьбу с идеологией и государством, никогда не были внутренне близки мне. Я всегда сторонился их, как вечно несовершеннолетних женихов революции — Пенелопы.

Кто там шумит: гражданские права!
Кто ругает за всякие «свободы»?
Ведь сказано: слова, слова, слова...
Ах, мне бы ваши жалкие заботы!

Это стихи 1975 года, когда в моей душе окончательно сложилось неприятие «мировой демократии». Но я инстинктивно не принимал её и раньше. Стихия жизни для меня была глубже, бесконечнее, прельстительней любого самоутверждения, любой идеологии, любой политики. Те, кто был не в силах объять или хотя бы полюбить стихию жизни, на моих глазах неизбежно становились борцами, протестантами, диссидентами. Они лишь на время могли притвориться гонимыми творцами.

Я мог понять и оправдать эмиграцию Бунина, спасавшего от великой революции великий мир своих чувств, своего таланта и своей души. Остаться на родине или спасать душу. Выбор нелёгкий, но я с Буниным. Однако, когда началась третья эмиграция, я, повинувшись не менее искреннему чувству, обязан был написать:

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вывернуть, память отринуть
и любовь позабыть, и войну.

Наверное, мое неприятие «ихней» эмиграции по сравнению с бунинской заключалось в том, что ничего великого за душой у них не было: ни «Тёмных аллей», ни «Деревни», ни «Жизни Арсеньева», а только шумные акции в защиту прав человека да забытые ныне романы-однодневки, выходявшие из-под перьев гладилиных, аксёно-

вых, синявских. И всё-таки я старался понять этих людей тоже:

И вас без нас, и нас без вас забудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу, что быть должно — да будет.
Вам есть, где жить, а нам, где умирать.

Стихотворение, видимо, навеянное пушкинскими строками об «отеческих гробах». Помню, я как-то послал его в один из ленинградских журналов, там произошёл в это время какой-то скандал. Секретарь обкома, член политбюро Романов затребовал вёрстку очередного номера, прочитал моё стихотворение и возмутился: «Как! Этим эмигрантам с израильской визой "есть, где жить", а нам, кто никуда не уезжает, только умирать остаётся?».

Сознавая неполноценность людей, бросающих родину в новую эпоху, я тем не менее не мог избавиться от предчувствия трагедии, которая, начиная с середины шестидесятых годов, всё неизбежней нарастала в душе. Как бы я ни отмахивался от этого предчувствия, как бы ни гнал его из ума и сердца, оно возвращалось и воплощалось в какие-то пророческие строки. Это было предчувствием трагедии не только личной, но и нашей общей, народной, национальной, мировой. Скорее всего, предчувствие трагедии диктовалось не какими-то событиями и катаклизмами, а странным напряжением, жившим в народе и в каждом из нас.

Иногда эта трагедия давала о себе знать, как мысль о незаконченности русской истории, о незавершённых, неразвязанных её узелках, источающих свои разрушительные излучения в жизнь. И тогда наша вечная российская неуспокоенность, наша охота к перемене мест начинала казаться мне болезненной судорогой:

Не хватает нам постоянства,
потому что вёрсты летят,
непрожёванные пространства,
самоедство и святотатство
у России в горле сидят.

Иногда эта трагедия вдруг, как призрак, возникала в суздальском пейзаже, где в алый морозный закат свою краску вплетал язык пламени от коровы, облитой бензином и подожжённой во время съёмки Андрея Рублёва в фильме Тарковского:

Слишком много в России чудес:
иней на куполах золочёных,
почерневший от времени лес,
воплощёнье идей отвлечённых
И в полнеба кровавый закат,
и снега, как при жизни Рублёва.

Современная критика оскорбилась за Тарковского, не понимая того, что «воплощёнье идей отвлечённых» — в качестве последней жертвы — потребовало ещё и жизнь несчастной бурёнки, что Тарковский в этой эпохальной драме был всего лишь навсего одним из её актёров и жрецов.

Многие поэты, жившие рядом со мной всю жизнь, жаловались на цензуру, на то, что «притесняют», «не пуцают», не дают сказать правду. Мне цензура и редакторы за исключением двух-трёх случаев почти не мешали, потому что, когда ты владеешь всей полнотой жизненной картины, всякого рода неприемлемые для цензуры мысли, чувства и строки становятся естественными и необходимыми, а не утрированными деталями твоего поэтического мира. (Цензуры



и редакторы ужасались лишь в тех случаях, когда подобные строки торчали, как шило в мешке.) Потому-то в те времена читатель мог прочитать в моих стихах многое, что, будучи вырванным из контекста, казалось крамольным и недопустимым.

В 1973 году, побывав в Карабахе, я понял, что там будет война. Ко мне, жившему в палатке возле озера Карагель, приходили то азербайджанские, то армянские вооружённые пастухи и конокрады и просили одного: чтобы в следующий раз я привёз им патроны. Я впервые увидел тогда раздираемый противоречиями, готовящийся к войне, мир, «где луч полуночной звезды / сверлит пустынные просторы, / а отзвук племенной вражды / ещё волнуется на заре / и проникает в приговоры...».

Предчувствие близкой трагедии всё росло и росло, заполняя мою душу, чтобы, наконец, выразиться в строчках из моей любимой калужской хроники. Однажды, гуляя в городском парке, я в который раз поглядел на гипсовую полуразрушенную скульптуру и вздрогнул: это нелепое сочетание слабого материала гипса и могучей, но ржавой арматуры как бы явило передо мной всю внутреннюю сущность нашего готовящегося к катастрофе времени:

Взирая из калужской мглы
на веки мировой культуры,
я вам скажу, что мне милы
шедевры гипсовой скульптуры.
Я вам напомним: два вождя
сидят в провинциальном парке.
И лебедь, тёмный от дождя,
плывёт, уплыл, уже на свалке.
Я вам напомним: тяжкий бюст
дважды героя из Калуги...
И столько возникает чувств
под ропот среднерусской вьюги.
А пионер, трубящий в горн,
вновь побелённый к Первомаю!
Гляжу на них и всем нутром
свою эпоху понимаю.
Да будет вечен этот гипс,
его могучая фактура...
Вот дискбол — плечо и диск,
а между ними арматура...

Помню, как я обрадовался найденному точному образу и как ужаснулся своей роковой находке! На фоне этих трагических открытий мои личные трагедии, выраженные

в стихах, отзвуки которых читатель найдёт в книге, могут показаться прикладными, дополнительными, незначительными по сравнению с великой катастрофой, которую я предчувствовал и которая произошла.

Но видит Бог, я боролся с её приближением всеми силами души! Я видел ещё кровоточащий где-то заживший, а где-то ещё гноившийся зазор между прошлой русской историей и советской эпохой. Я понимал, что полноценного национального будущего у нас без возвращения всего вечно живого, что было создано до революции, быть не может.

Но как начать это возвращение, чтобы оно не разрушило реальную историческую жизнь последнего семидесятилетия?! Как примирить красных с белыми? Бунина с Есениным? Шолохова с Солженицыным? Русское с советским? При первом удобном случае, при любом дуновении вдохновения я пытался оста-

новить эту ещё сочащуюся кровь, вытереть гной, продезинфицировать рану.

Глядя на разрушенные интернационалистами первого призыва церкви родного города, я шептал, не желая быть участником приближающегося реванша:

Реставрировать церкви не надо:
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготу и в разрухе своей.

Я страстно жаждал верить, что время почти засыпало эту трещину, что трава забвенья поросла на могилах уничтожавших когда-то друг друга русских людей, что не хватит жизненных сил у семян возмездия выбросить свежие ростки и пробиться сквозь почву, утопанную после кровопролития уже двумя поколениями.

Всё равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймёт,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поёт...

Всё нормально, всё обойдётся... Так хотелось думать. Но то, что в последнюю строку залетело грозное слово «угрюмо», не давало мне покоя. Хотел было как-то заменить его — не получилось, стих сопротивлялся, жил собственной жизнью, а слово это как бы призывало к действию, а действие это неизбежно должно было стать возмездием. Но я не сдавался без боя и своим собственным предчувствиями и в других стихах настойчиво искал пути мирного исхода исторической драмы.

Я как бы хотел сказать: будем помнить всё, но уже исторической памятью, а не той, что призывает к реваншу, разрушению и возмездию. Однако время показало, что я преувеличивал созидательно-христианские силы и своего народа, и свои собственные. Из тлеющих угольков провокаторский ветер нового мирового порядка и перестройки снова раздул пламя мирового костра. Первый акт трагедии завершился. И доживать нам придётся в ней.

Хотелось бы надеяться, что мой опыт, выраженный в этой книге, будет востребован новым временем. Если такое случится, моя душа обретёт хотя бы относительный покой от сознания исполненного перед Россией долга.